

**Михаил Васильевич Авдеев**

**Тамарин**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**Михаил Васильевич Авдеев**

Тамарин / Михаил Васильевич Авдеев – М.: Книга по Требованию, 2011. – 162 с.

**ISBN 978-5-4241-1412-0**

Сюжет написанного в конце 1840-х годов и опубликованного полностью в 1852 году романа составляет любовная история в русской провинции. Герои сродни героям Тургенева и Гончарова, как люди одной эпохи и слоя.

Автор видит их "двойным зрением любви". Разоблачение провинциального "Печорина" - Тамарина должно помочь излечения окружающих, снять радужную пелену с их глаз. "Лень сердца" героя - вот что осуждается более всего.

Даль времени слила промежуток, который разделял их: Тамарин и Варенька останутся в памяти благодарного читателя вместе.

**ISBN 978-5-4241-1412-0**

© Издание на русском языке, оформление, « YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, « Книга по Требованию», 2011

Михаил Васильевич Авдеев  
Тамарин



## Предисловие автора

Настоящий роман был напечатан отдельными повестями в «Современнике» 1849, 1850 и 1851 годов. Это раздробление имело свои неудобства: общая идея романа и развитие и изменение характеров, представляясь по частям, не были вполне ясны и не производили цельного впечатления. Издавая ныне этот роман вполне, я считаю нужным сказать несколько слов о цели, с которой он был задуман, и моем взгляде на ее исполнение. Автор разбора сочинений Пушкина (в «Отечественных записках») заметил, что Онегин и Печорин составляют один тип и что характер Печорина есть тот же характер Онегина, изменившийся при последовательном развитии. Это замечание, по моему мнению весьма справедливое, дало мне мысль проследить дальнейшее развитие типа героев своего времени, имевшего еще и в нашем своих представителей. Вот цель, с которой я задумал Тамарина. Характер этот, породивший столько разнородных толков, требует объяснения. Поэтому я обращаюсь к его первообразам.

Евгений Онегин был верный список молодых людей, героев тогдашнего времени, список, сделанный рукой гениального художника, каков был Пушкин. Успех его был огромен, как успех превосходного литературного произведения, но он не имел влияния на действительную жизнь – он не произвел Онегиных или подражателей Онегина в обществе, да и не мог этого сделать, потому что Онегины были и без того, потому что пушкинский Онегин был не оригинал, а только художественно верный портрет действительности. Не таков был Печорин.

Лермонтов в предисловии к своему роману говорит про Печорина: «Этот портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Так задумал Печорина Лермонтов, но, создавая его, он увлекся своим героем и поставил его в ... поэтическом полусвете, который ... придал ему ложную грандиозность. Критика и позднейшее здравомыслящее поколение поняли эту ошибку и свели Печорина с пьедестала, на который поставил его автор; но иначе поняло его большинство его современников. Ослепленное ярким эффектом красок и искусной драпировкой героя, это большинство увлеклось им и, вместо того чтобы увидеть в нем образец своих недостатков, ... стало ему подражать. От этого, в противоположность Онегину Пушкина, который был портретом с действительных Онегиных, Печорин Лермонтова сделался оригиналом, породивших Печориных в обществе. И не близорукая бездарность составляла (теперь уже можно говорить в прошедшем) этот класс действительных Печориных. Люди с умом сильным, с душой, жаждущей деятельности, но не умевшие найти полезного и благородного приложения этой деятельности, увлеклись печоринством. Оно было по ним; оно успокаивало их неутомимое самолюбие, давало пищу их бессильной энергии: оно помогало им обманывать самих себя. С этих-то действительных Печориных писан мой Тамарин – тип замечательный и интересный, имевший свое блистательное время, когда и сам он, и другие верили в его искренность, и доживший в наших глазах до полного и горького разочарования. Описать то и другое, показать обществу и человеку, как они добродушно обманывались, и показать разоблачение этого обмана – вот в чем была моя задача; вот отчего упрек в сходстве с Печориным первым повестям этого романа. Но гораздо менее справедлив другой высказанный мне упрек, что я увлекся моим

героem и описывал его с любовью, которой он не заслуживает. Нет, я не увлекся им, потому что разоблачил его из того ложного наряда, в который он эффектно драпировался; я показал ложь этой драпировки ему самому и тем, которые простодушно верили ей, но я описывал его с любовью, как люблю всех добрых лиц моих рассказов. Я не сатирик, который смотрит на все с исключительной точки зрения насмешки, и не оптимист, который видит во всем одну хорошую сторону, я заблуждаюсь там, где постановка лица вводит в заблуждение его окружающих, и разуверяюсь там, где яркий свет обличает в их глазах обман ложной обстановки. Я не ставлю перед читателем сразу моих героев, так как они есть, но показываю их так, как они кажутся. Может быть, от этого мои действующие лица теряют голую и холодную верность своей натуре, но они выигрывают в живости, теплоте и искренности описания. Я, может быть, ошибаюсь, но это мой личный взгляд.

С этой точки зрения странно было требовать, чтобы простодушный (и как рассказчик, не вполне выдержавший свой характер) Иван Васильич и деревенская девочка Варенька не заблудились в ошибочном понимании Тамирина. Еще было бы страннее, если бы я и самого Тамирина заставил в своих же записках смеяться над собою и рассказывать, как он морочит почтенную публику; тогда как весь его характер состоит именно в том, что он сам в себе обманывается. От этого-то он и заслуживает сожаление и участие, а не насмешку; от этого-то я и говорю, что описывал его с любовью, как люблю всех добрых лиц моих рассказов. Припомните, что Пушкин заставил сказать своему Онегину одну даму:

«Но вы совсем не так опасны, И знали ль вы до сей поры, Что просто очень вы добры».

И таким действительно понимал Пушкин своего Онегина. От этого и Тамирин в конце своих записок является просто добрым человеком, каким он и есть в самом деле.

Что касается до Иванова, то это не противоположность Тамирина, как некоторые думают, а более современный и близкий нам тип, как я его понимаю. Он у меня очерчен настолько, насколько был нужен для Тамирина, и, если характер этот несколько сух и беден поэтической стороной, то тем не менее, я полагаю, верен действительности.

Писатель, издающий в свет свое сочинение, ставится в невыгодное положение, если молча выслушивает толки и суждения о своем произведении и не отвечает на них. Поэтому я счел нужным высказать свой взгляд на предлагаемый роман. Верен ли этот взгляд и каково выполнил я свою задачу, об этом уж не мне судить.

*М. Авдеев*

*С.-Петербург,*

*26 ноября 1851 года.*

# Варенька

(Рассказ Ивана Васильевича)

## I

Весной 184\* года я возвратился благополучно в свое родовое Редькино, которое, по домашним обстоятельствам, ездил перезакладывать в Московский опекунский совет. Вечером за самоваром, который был подан часом позже обыкновенного, потому что моя Марья Ивановна рассматривала и примеривала чепцы да уборы, привезенные мной с Кузнецкого моста, я наслаждался семейным счастьем. В саду перед окнами мои четверо мальчишек пересматривали и рвали книжки с картинками, отнимали у сестры куклы, кричали и возились, несмотря на присутствие двух нянек, которые сидели в пяти шагах. Я, куря трубку, любовался ими, допивал третий стакан чаю, пускал колечки из дыму и слушал жену, которая, отобрав от меня нужные сведения о моей московской жизни, рассказывала свои домашние распоряжения, вновь открытые ею мошенничества по имению, меры исправления и, наконец, жизни и приключения наших соседей. Перебрав по косточкам старых знакомых, очередь дошла до новых; я стал внимательнее.

– В Рыбное приехал, – говорила Марья Ивановна, – новый помещик Тамарин, франт, говорят, такой. Я его еще не видела... Ведь ты его знаешь?

– А! Сергей Петрович приехал! Давно пора; ведь уж два года, как умерла покойница Анна Игнатьевна; я с ним познакомился еще зимой в N. по случаю размежки, и еще тогда говорил, что надо ему побывать в Рыбном. Насилу послушался!

– Как же, так он тебя и послушался! Большая нужда ему, что в деревне обворывают! Приехал бы он за этим, если б не было Лидии Петровны!

– А! И Лидия Петровна здесь?

– Здесь, уж недели две, как с мужем притащилась; он старик, а ей лет двадцать пять; такая хорошенькая. Нездорова, говорит, нужен сельский воздух. Невидаль – сельский воздух, будто в Петербурге воздуха нет!

– Как же, матушка! Известно, сельский воздух очень здоров, в книгах пишут и все говорят!

– Вздор все говорят: я вот седьмой год живу в деревне, а все больна.

После этого мне о воздухе спорить было нечего: действительно, дня не проходит, чтобы моя Марья Ивановна чем-нибудь не пожаловалась: то бок завалило, то под ложечкой давит, а сама, прости Господи, так и плывет: всякий месяц капоты расставляют. Странная болезнь такая!

– Ну, что? А каков этот Сергей Петрович? Гордец, говорят.

– Э, полно, матушка! Правда, он немного со странностями и сначала как будто горд, – ну, человек нынешнего века, не нашего поля ягода, – а впрочем, славный малый! Я у него не раз обедывал: гастроном такой.

– Так тебе, душанчик, надо сделать ему визит, и самим отплатить ему хлебом-солью. Поедешь к нему?

– Поеду, матушка, поеду, только меня что-то сон клонит; чаю я больше не хочу, а вели-ка дать поужинать.

Дня через три я собрался объездить моих соседей. Позавтракав, часу в десятом утра, я велел заложить тарантас, взял в узелок новый коричневый фрак и отправился. Ближе всего от нас Рыбное. Оно принадлежало бригадирше Анне Игнатьевне княгине Кутуказевой, а после нее досталось внуку ее по дочери, отставному поручику Сергею Петровичу Тамарину, к которому я и ехал. Рыбное стоит над озером, в котором водится немало раков и очень много лягушек. Сообразив это, мне показалось странным его название. Я обратился к кучеру:

– Терентий, в Рыбном озере ведь нет рыбы?

– Нет, – сказал он, не оборачиваясь.

– Так отчего же оно названо Рыбным?

– Да на берегу завод, вино курят, – отвечал он, не задумавшись.

Мне показалось это объяснение не совсем понятным: почему озеро названо Рыбным оттого, что на берегу винокурный завод? Я усомнился даже, действительно ли Терентий хотел ответить на мой вопрос, или в его курчавой, угловатой голове лениво переворачивалась идея о вине и винокурном заводе и он на первый вопрос выпустил эту завалившуюся идею. Дальнейшие расспросы я почел излишними и молча доехал до Рыбного. Старый барский дом, в котором жил Тамарин, был выстроен над озером. Деревянный, длинный, серый от старости, грустно глядел он своими мелкими зелеными стеклами с горы на противоположный плоский берег. От дома до озера спускался старинный английский сад с заросшими аллеями из столетних деревьев. Вправо и влево тянулись сперва службы и амбары, а потом крестьянские избы. Сзади каретники, конюшни, гумно и далекое пустое поле, с зеленеющими озимыми и черным паром. Когда я подъехал к крыльцу, на колокольчик выбежал хорошенький мальчик, в сером куце фраке, с белыми гербовыми пуговицами.

– Дома Сергей Петрович?

– Дома, сейчас встали. Как прикажете доложить?

– Скажи из Редькина, мол, Иван Васильич. Мальчик убежал, а я вошел в большую залу, с низенькими хорами. Посредине стоял бильярд, верно, переставленный по приказанию Сергея Петровича, потому что прежде он стоял в боковой комнате, правда, немного узкой, но в стороне более в ней мебели не было.

Через минуту вошел высокий усатый человек в сером, тоже каком-то куце не то сюртуке, и то фраке – это был камердинер Сергея Петровича я его видел в городе.

– Сергей Петрович извиняется: они еще не одеты, – сказал он. – А если вы не будете в претензии, то приказали просить.

После этого приема я хотел было воротиться да надеть коричневый фрак, но раздумал. Сергей Петрович – человек хороший, да городской и еще столичный, в деревне извиняется, что не одет, люди во фраках да жилетах, и всего-то двое в доме! Желал бы я посмотреть, как бы он вырядил так двадцать семь человек моих дворовых?

Человек провел меня в среднюю гостиную, из которой дверь вела в сад; у покойницы тут была чайная, а он из нее сделал кабинет. Сергей Петрович встретил меня в дверях. Я думал, что он и в самом деле не одет или если и прикрыт чем, то чем-нибудь этак в роде онатюрель, как говорится, а он сидит у себя дома, а сам точно с модной картинки, что жена получает. Черный, странного покроя robe de chambre на малиновом подбое, брюки, которые как-то закрывали ногу

вплоть до самого носка, что мог только один немец выдумать, а русскому человеку и в голову не придет, и сверх них крошечные бархатные туфли, которые, по правде сказать, моей Марье Ивановне и на шелковый чулок не взлезут.

– А! Иван Васильич, это вы? А мне сказали, что какой-то Редькин приехал, – сказал Сергей Петрович, протягивая мне свою маленькую руку, которую я всегда боялся дружески пожать, опасаясь сломать ее.

– Нет, Сергей Петрович, это я. Я сказал: доложи, мол, Иван Васильич из Редькина; а мальчик и переврал. Редькин! Какой я Редькин? Я слава Богу, Попов, а не Редькин!

– Не хотите ли чаю? – сказал Сергей Петрович, опустившись в вольтеровское кресло и усадив меня против себя.

– Покорно вас благодарю, я уже позавтракал; а впрочем, от стаканчика с дороги не откажусь.

Мне подали чаю; на столе стояли ветчина, масло, телятина. Сергей Петрович предложил мне их к чаю, уверяя, что это очень хорошо. Но я поблагодарил и, признаюсь, подумал было, что он хочет подшутить надо мной: мне и в голову бы не пришло, что можно есть ветчину с чаем, если бы после не видал своими глазами, как сам Сергей Петрович не раз употреблял ее. Станный человек был этот Сергей Петрович! Я, например, никогда не видел, чтобы он горячился. Староста ли его надует, а он заметит; призовет старосту, скажет, что он дурак, потому что и надуть порядочно не умеет, – и он у него опять старостой; лакей ли налижится до положенья риз, лыка не вяжет, на ногах не стоит, а уверяет и божится, что маковой росинки во рту не бывало, – у меня вчуже сердце надорвется, а Сергей Петрович с ним и не спорит, велит ему лечь спать и на другой день ничего не сделает! Добр был он очень, а уж язычок – не приведи Бог! Смешно сказать: я, например, и турецкую кампанию делал, и в Польше был, пули, бывало, визжат над ухом, ядра летят над головой – не поклонись, стоишь себе к ничего, только какие-то мурашки по телу ползают; а когда в обществе зайдет речь про меня и Сергей Петрович в разговор вступит – поверите ли? – беспокойно на стуле сидеть и платье как будто узко становится! Думаешь себе: как вздумается ему окрестить тебя так, шутки ради, каким-нибудь словом, холодно, мимоходом, как он иногда это делает, а огорошит им хуже пули, и насмеется над тобой всякий, и дурак, и умный, и пойдет это слово, из уст в уста, – ну, опозорит на веки! Да еще так, что и придаться не к чему. Однако ж Сергей Петрович, спасибо ему, никогда надо мной не смеялся; за это, может, и любил я его.

Да, я его очень любил, хотя, по правде сказать, мне от него не было ни тепло ни холодно. Только сам не знаю отчего, а я всегда чувствовал над собой его превосходство, и это меня нисколько не удивляло и не огорчало, как будто так и следовало быть. А как подумаешь – так точно удивительно, потому что не один я, хотя другие и не сознаются, и не относительно только себя я видел это превосходство, эту какую-то силу, которая делала то, что когда он бывает в обществе, каком бы то ни было, где даже и важные люди есть, хотя он молчит себе, хоть ничего не делает, а чувствуешь, что первый в этом обществе Сергей Петрович! Ну, что он такое? Отставной поручик, еще и армейский, владетель каких-нибудь трех сотен душ, не князь, не граф, а Тамарин, то же, что наш брат Попов! За что бы, казалось, считать его лучше себя и других? Так нет, подите же, считаешь себе да и только! Разве что умен? Действительно, умен, в этом и враг его созна-

ется. Да что в этом уме? Какую пользу приносит ему этот ум, позвольте вас спросить? Что он, заставит каждого язык прикусить?! Велика важность! Что ж это за ум, с которым он весь век только глупости делает? Напроказничал что-то в Петербурге, историю имел, карьеру испортил и был бы без гроша, как бы не бабушкино наследство! Да это и всякий сумеет сделать! По-моему, такой ум гроша не стоит! Григорий Григорьевич, например, вот так ум! Пошел служить писцом во фризовой шинели, а теперь с тысячью душ, и капиталец есть. Вот ум, так ум!

Сергей Петрович был среднего роста, тонок и чрезвычайно строен; ноги и руки крошечные, но мускулистые; черты лица правильные, умные и чрезвычайно спокойные; волосы светлые, мягкие, шелковистые; глаза большие, карие, прекрасные глаза, но странные. Обыкновенно они, как и все лицо его, были очень холодны и покойны; но, казалось, в глубине их таилась какая-то особенная сила. Если он одушевлялся, что, впрочем, бывало довольно редко, то они начинали светиться более и более. Тогда в них одних проявлялось столько воли, твердой и непреклонной, такая сила характера, какую мне никогда не случалось видеть в самых резких и выразительных физиономиях, а в нем и подозревать было нельзя. Вообще он был недурен собой, по-видимому, довольно слабый, бледный, очень грациозный, но медленный в движениях и как будто усталый. Раз я его спросил:

– Отчего это вы всегда как будто утомлены чем-то, Сергей Петрович?

– Жизнью, Иван Васильич, – отвечал он по обыкновению полушутя, полусерьезно, так что не знаешь, высказывает ли он свою мысль, или говорит, чтобы только сказать что-нибудь.

«Есть отчего устать, – подумал я. – Тяжела твоя жизнь: поутру ногти чистить, а остальное время барыням сказки сказывать».

Итак, сидел я у Сергея Петровича, пил чай и курил из своей дорожной трубки, а он, по обыкновению, курил папиросу да ногти чистил: поутру он вечно нависывает итальянские арии да ногти чистит, такая уж у него была привычка. Я ему говорил про озими да про запашку, а он мне отвечал, что ничего в них не понимает. Так мы проговорили с час места.

Погода была чудесная, дверь в сад была растворена, чрез нее вид на озеро и за ним на красивую усадьбу барона Б\*\*\* был отличный; в воздухе не шелокнется; мы сидели да покуривали, когда вошел мальчик и подал Сергею Петровичу на маленьком серебряном подносе записочку. Ну что опять за мода на серебряном подносе записочки подавать? Ведь вез же ее, чай, форейтор в засаленном полубубке! Не на подносе же вез он ее?

Сергей Петрович лениво пробежал записку, бросил на стол и велел сказать: «хорошо».

«От кого бы это? – думал я. – Бумажка с гербом и облатка гербовая».

– Что вы улыбаетесь, Иван Васильич? – спросил Сергей Петрович.

– Да ничего, я так улыбнулся!

– Вы думаете о записке?

– Я нескромных вопросов не делаю, – отвечал я.

– Эта записка от баронессы Б\*\*\*, она зовет меня ехать верхом с ней; видите, тут нет ничего особенного.

– Что тут необыкновенного, что молодая дама к вам записки пишет! Очень

обыкновенно.

– Вы находите, может быть, это странным, непозволительным? – сказал Сергей Петрович таким тоном, как будто он спрашивал киргиза: «А что, странно, братец, что я вилкой беру говядину?»

– Нет, – отвечал я, – чего ж тут непозволительного, верхом ездить очень позволительно. – А сам думаю: что ж мне за дело, ведь записка не от Марьи Ивановны, а чужой лоб не мне на голове носить.

Сергей Петрович позвонил.

– Оседлать Джальму! Я взялся за фуражку.

– Подождите, Иван Васильич, куда вы?

– Да я к Мавре Савишне.

– К какой Мавре Савишне?

– В Неразлучное.

– Это по пути к барону?

– По одной дороге: версты три за Лункиным.

– Поедемте вместе!

Сергей Петрович спросил переодеться: надел серенькую жакетку, круглую кожаную фуражку с длинным козырьком, взял хлыстик, – ну, англичанин чистый! – и мы отправились, он верхом, а я в тарантасе. Пока мы ехали вместе, я любовался Джальмой. Что это за конь! Карабаир чистой крови! Сергей Петрович привел его из Оренбурга, где купил на меновом дворе у хивинцев. Тонкий, стройный, весь из жил и кости. А привязан был к Сергею Петровичу как собака. Бросит он его, и стоит Джальма как вкопанный; зашелкает Сергей Петрович, свистнет, и Джальма пред ним как лист перед травой. Серый в яблоках; чуть проедет на нем, и он делался розовый: так тонка была у него кожа; глаза горят, а смирен как голубь! Сергей Петрович сказывал, что он купил его на пристяжку. В первый раз он пошел удивительно. Во второй только поднесли хомут, а он и задом и передом; кое-как ввели в постромки, он изорвал зубами хомут на себе и коренной и лег – так и отбился от запряжки. Но уж верхового коня я лучше не видывал!

Я и не видел, как мы обогнули озеро и подъехали к Лункину, так засмотрелся я на коня и седока. И седок хорош; сидел как прикованный; отлично ездил Сергей Петрович, и, спасибо, не по-английски, а по-русски... терпеть не могу этой езды вприсядку! Только он вечно сидел в седле опустившись, как будто ему тяжело держаться прямо: видно, привык к мягким креслам.

– Сергей Петрович! – сказал я ему шутя. – Продай коня.

– Не продажный, а заветный, – отвечал он.

– А что завету?

– Да то, чего нет у вас, Иван Васильич: женское чистое сердце! – сказал он, кивнув головою, и повернул в Лункино к барону.

«Экий сердцеед какой! Вишь чего захотел», – подумал я и поехал крупной рысью к Мавре Савишне.

### III

Есть лица, в присутствии которых становится как-то тепло на сердце. К числу их принадлежала моя добрая знакомая и соседка Мавра Савишна со своей дочкой Варенькой. Перо мое с любовью останавливается на их портретах.

Мавра Савишна была вдова секунд-майора, добрая русская помещица полутора душ; как теперь вижу ее маленькую фигурку с чепцом на голове, очками на носу и вечным чулком в руках. Я не знаю человека, который бы не любил Мавры Савишны. Правду сказать, знаю мало я таких, кого бы она не любила.

Мавра Савишна почти безвыездно после смерти мужа жила в деревне да любовалась своей дочкой Варенькой. Варенька была для нее все, и не на бесплодную почву падала любовь ее: Варенька стояла этой любви.

Не будь я женат и не имей пять человек детей, я бы влюбился в Вареньку... да нет, не влюбился бы: не посмел бы влюбиться в нее, а любил и люблю ее как родную дочь; и мудреного нет – она выросла на моих глазах.

Будь я живописец и скажи мне кто-нибудь: «Иван Васильич, напиши какого-нибудь вестника радости и мира», – и я бы написал портрет Вареньки.

Ей было осьмнадцать лет; она была немного более среднего роста. Не была она полна и не была тонка, но такого грациозного, такого гибкого, так мягко схваченного стана и не придумаешь. И голова была по стану: во всем лице ни одной классически правильной, резкой черты, которая бы бросилась в глаза; но все так чисто, так добры, так сгармонированы, что казалось, природа с особенной любовью занималась созданием их. Больше всего мне нравились ее глаза: большие, темно-голубые, светло и спокойно смотрели они на Божий мир, как будто в нем не было ни нужды, ни горя, ни потерь, ни заботы, ни длинного ряда заблуждений и обманов, в конце которого часто стоит разочарование и могила.

Я сказал, что Мавра Савишна почти безвыездно жила в деревне, но я ошибся: когда Вареньке минуло шестнадцать лет, она две зимы сряду ездила с ней в свой губернский город, где у нее были дела.

В эти две зимы Варенька выезжала много, и не одни вечер, далеко за полночь, молча просиживала на балах Мавра Савишна, любуясь на свою дочку.

Но свет не привязал к себе Вареньки своими пестрыми удовольствиями, своими ловкими кавалерами. Весело и покойно смотрела она на офицеров и белогалстучных франтов. Шутя выслушивала она их полшутливые, полусерьезные признания, и ни разу ее девственное сердце не забилося сильнее обыкновенного. Варенька любила всех и потому никого не любила. Смотря на своих подруг, которые часто выбирали ее в поверенные, она большей частью находила их глубокие чувства слишком мелкими, их вечную любовь слишком кратковременной, их постоянных обожателей слишком ветреными; странны и непонятны казались ей увлечения любви, и, раздумывая о себе в долгие вечерние прогулки по темному саду, сознавала она, что не способно ее доброе любящее сердце забиться этой любовью, что не закипит огнем страсти ее теплая кровь и что благо сделала природа, дав ей много любви и раздробив эту любовь на весь мир.

Вареньку воспитывала гувернантка-швейцарка. В шестнадцать лет Варенька бегло играла на фортепьяно, говорила по-французски как француженка и пела серебряным голоском хоть и без искусства, но с той натуральной прелестью, которую природа дает соловью и иногда хорошенькой девушке. Добрая гувернантка не успела налюбоваться своей питомицей: она умерла в то время, когда та начинала только жить, и оставила Вареньке свой маленький капиталец, скопленный в ее же доме, – так любила она ее!

Но Варенька, оставшись одна, со своей доброй, любящей ее до беспамятства матерью, но которая не имела на нее никакого морального влияния, не была уже